

Илья Эренбург

не жалею
о прожитом

ЛЮДИ
ГОДЫ
ЖИЗНЬ



Александр Твардовский, Валентин Катаев, Анна Ахматова, Александр
Фадеев, Анна Зегерс, Луи Арагон, Эльза Триоле, Жан Поль Сартр,
Поль Элюар, Марк Шагал, Пабло Неруда, Иосиф Сталин,
Никита Хрущев и другие



Люди, годы, жизнь

Илья Эренбург

**Люди, годы, жизнь. Не
жалею о прожитом.
Книги шестая и седьмая**

«Издательство АСТ»

1945-1960

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Эренбург И. Г.

Люди, годы, жизнь. Не жалею о прожитом. Книги шестая и седьмая
/ И. Г. Эренбург — «Издательство АСТ», 1945-1960 — (Люди,
годы, жизнь)

ISBN 978-5-17-098147-2

В настоящей книге перед читателем разворачивается картина послевоенной Москвы, автор рассказывает о Нюрнбергском процессе, на котором присутствовал лично, о своей поездке в Америку, убийстве С. Михоэлса и борьбе с «космополитами»... Заканчивается эпоха И. Сталина и начинается новая, с легкой руки Эренбурга вошедшая в историю под названием хрущевской оттепели. Она развенчала культ личности «отца народов», принесла существенные перемены к лучшему, дала людям творческую свободу. В эти годы Эренбург много путешествует по Индии, Японии, Греции, Армении, изучает и описывает жизнь этих стран. Встречается здесь читатель и с известными учеными, писателями, художниками, чьи литературные портреты во множестве представил автор. Среди них А. Эйнштейн, Ф. Жолио-Кюри, Е. Шварц, А. Фадеев, П. Элюар, П. Неруда, Н. Хикмет, П. Пикассо, А. Матисс, М. Шагал...

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-098147-2

© Эренбург И. Г., 1945-1960
© Издательство АСТ, 1945-1960

Содержание

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь»	6
Книга шестая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	48



Илья Эренбург
Люди, годы, жизнь: книги шестая
и седьмая. Том третий (1945–1960)

Дизайн серии Владислава Воронина

В оформлении книги использованы фотографии из личного архива Б.Я. Фрезинского, фондов РИА Новости

Издание подготовил Борис Фрезинский

© И.Г. Эренбург, наследники, 2018

© Б.Я. Фрезинский, подготовка текста, предисловие, комментарии, 2018

© РИА Новости, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (от замысла – к рукописи, от издания – к читателю) Костра я не разжег, а лишь поставил

У гроба лет грошовую свечу...
*Илья Эренбург*¹

В третьем томе мемуаров Эренбурга, состоящем из шестой и незавершенной седьмой книг, повествуется о послевоенном времени. Период 1945–1960 годов естественно делится на две существенно разные политические эпохи: позднесталинскую деспотию и хрущевскую оттепель. Черное восьмилетие (май 1945 – март 1953) было одним из самых беспросветных в истории СССР. У дряхлеющего диктатора, не выпускавшего из рук управление мощным аппаратом госбезопасности и армии, было еще немало безумных планов упрочения своей диктатуры и расширения занимавшей полмира империи. Сразу после Победы 1945 года, достигнутой народом ценою невероятных жертв, он напомнил всем, кто именно в доме хозяин и что поблажек не будет никому. Страна жила впроголодь (ежегодное снижение цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, которых никто, за исключением более или менее обеспеченных жителей нескольких городов, не видел в лицо, было фикцией). Идеологические и политические кампании следовали одна за другой, унижая и подавляя интеллигенцию. Холодная война и пресловутая борьба за мир, придуманная Сталиным, камуфлировали военные приготовления нищей страны, обзаведшейся ядерным оружием.

В жизни Ильи Эренбурга морально это было очень трудное и очень жестокое время. Не впервые он морально был готов к аресту². Но, когда 30 июня 1950 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Утвердить т. Эренбурга И.Г. заместителем председателя Советского Комитета защиты мира, поручив ему руководство делом пропаганды движения сторонников мира и организацию в печати пропагандистских выступлений по этим вопросам»³, его сделали титулованным «борцом за мир». Это не гарантировало ему жизнь, но давало уверенность, что его судьба будет решаться только Сталиным, а не любым начальником в госбезопасности. Итоговая формула в мемуарах Эренбурга об отношении его к Сталину однозначна: «Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся»⁴. Думаю, что это честное признание. В стихах о том времени, написанных Эренбургом, он был к себе строг и откровенен:

Когда луна бывала злая,
Я подвывал, и даже лаял,
Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен —
Не конуре, да и не плети,
Не всем богам на белом свете,
Не дракам, не красивым врагам,

¹ Из стихотворения «Люди, годы, жизнь» (1964).

² В конце марта 1949 г., в разгар кампании против космополитизма, ответственный сотрудник ЦК ВКП(б) Ф.М. Головенченко, выступая в Москве с докладом о литературе в присутствии тысячи свидетелей, объявил: «Могу сообщить вам хорошую новость – разоблачен и арестован космополит № 1, враг народа Илья Эренбург» (см. наст. том, гл. 15 шестой книги и комментарии к ней).

³ «Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ЦК ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953». Составители А.Н. Артизов и О.В. Наумов. М., 1999. С. 665.

⁴ См. наст. том, гл. 32 шестой книги.

Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе⁵.

В те годы реальная жизнь не предоставляла Эренбургу иного внутреннего выбора; это следует из того, что он очень много раз выезжал за границу, но всегда возвращался домой. Весной 1953 года, вскоре после смерти Сталина, он почувствовал: для страны настают новые времена. Теперь, с его легкой руки, во всем мире их зовут оттепелью (именно Эренбург первым и широковежательно назвал их так).

При его жизни мемуары «Люди, годы, жизнь» отдельным изданием (не считая собрания сочинений 1960-х годов) издавались лишь однажды – в трех томиках (по две части в каждом), выходявших на протяжении пяти лет – в 1961–1966 гг. Тогда казалось, что писатель завершил свой большой труд, доведя повествование до смерти Сталина, как и замыслил в 1959-м.

Но в октябре 1964-го в результате заговора был свергнут Н.С. Хрущев, и уже первые месяцы после этого показали Эренбургу, политически всегда точно ощущавшему ситуацию в стране, что хрущевская эпоха в СССР завершилась и наступают политически иные времена. В 1966-м он принял решение рассказать о хрущевской оттепели в седьмой книге мемуаров. И в конце года приступил к работе над ней. Начав с рассказа о 1954 годе, он успел довести повествование только до 1960-го. Так что в третий том воспоминаний «Люди, годы, жизнь» входит шестая книга и 21 из 34 задуманных глав седьмой.

Книга шестая

Работа над шестой книгой «Люди, годы, жизнь» началась в октябре 1962 года; в январе – феврале 1963 года был перерыв в работе Эренбурга из-за его поездок за рубеж.

В марте 1963-го Эренбурга разыскали в Мальме (Швеция) и попросили вернуться в Москву, чтобы 7–8 марта присутствовать на встрече деятелей культуры с Н.С. Хрущевым.

Встречу открыл секретарь ЦК Л. Ильичев, руководивший антиэренбурговской кампанией в стране. На следующий день встреча продолжилась, но Эренбург на нее не пришел. Именно в тот день выступал Хрущев.

Вот два свидетельства участников этой встречи.

Евгений Евтушенко: «На этой встрече Хрущев поддался собственному нервозному настроению, созданному услужливой дезинформацией <...> Эта дезинформация исходила и от некоторых писателей, которые, теряя с развитием гласности свои посты и влияние, пытались монополизировать патриотизм, пытались обвинить во всех смертных грехах других, неугодных им писателей»⁶.

Маргарита Алигер: «Кто из нас, просидевших два долгих дня на этой встрече, может припомнить, за что, собственно, критиковали Илью Эренбурга? Но кто из нас может забыть, как чудовищно и безобразно это звучало?.. Я никогда не представляла, что Эренбург может быть так подавлен»⁷.

В своей речи Хрущев дважды заговорил об Эренбурге. Первый раз – о мемуарах: «Когда читаешь мемуары И.Г. Эренбурга, то обращаешь внимание на то, что он все изображает в мрачных тонах. Сам тов. Эренбург в период культа личности не подвергался гонениям или ограничениям»⁸. Для усиления пассажа Хрущев продолжил речь контрпримером, заготовленным

⁵ Из шестого стихотворения цикла «Старость» (напечатано в 1967).

⁶ Архив автора.

⁷ Там же.

⁸ Новый мир. 1963. № 3. С. 11.

для него в аппарате Ильичева: «Совсем иначе сложилась судьба такого, например, писателя, как Галина Серебрякова, которая многие годы находилась в заключении. Но она, несмотря на это, сохранила бодрость духа, верность делу партии и сразу после реабилитации включилась в творческую жизнь, взялась за свое оружие и создает произведения, нужные народу и партии»⁹. «Критику» Эренбурга Хрущев продолжил в разделе, посвященном борьбе с мирным сосуществованием в области идеологии: «Было время, когда товарищ Эренбург приезжал к В.И. Ленину в Париж и был сочувственно им принят, как он сам об этом пишет. Даже в партию вступал товарищ Эренбург, а затем отошел от нее. Непосредственного участия в социалистической революции он не принимал, занимая, видимо, позицию постороннего наблюдателя. Думается, не будет искажена истина, если сказать, что с таких же позиций товарищ Эренбург оценивает нашу революцию и весь последующий период социалистического строительства в своих мемуарах “Люди, годы, жизнь”». Этот тезис был усилен противопоставлением работе Эренбурга «замечательного примера патриотического, партийного понимания задач художника» в творчестве М.А. Шолохова, который «с непримиримой ненавистью разоблачает и разит врагов нашего общественного строя»¹⁰.

Сразу после этого писатель получил много писем читателей и друзей в свою поддержку; прочитав речь Хрущева, порядочные люди открыто выражали Эренбургу свои искренние симпатии¹¹.

10 апреля 1963 года Эренбург написал Е.Г. Полонской: «Я долго тебе не отвечал: настроение соответствующее, да и организм, остановленный на ходу, дает знать, что такое *limite d'âge* <предельный возраст (*фр.*) – *Б.Ф.*>. В 3 номере “Нового мира” ты найдешь скоро сокращенный конец 5-ой части. Шестую, которую я писал, сейчас оставил *en sommeil* <до лучших времен (*фр.*) – *Б.Ф.*>»¹².

Эренбург вернулся к работе над шестой книгой мемуаров лишь после личной встречи с Хрущевым, состоявшейся (один на один) в Кремле 3 августа 1963 года. На этой встрече он узнал, что глава государства «критиковал» его мемуары, оперируя надерганными для него цитатами, а теперь, прочитав книгу, не обнаружил в ней ничего вредного. Эренбургу было сказано, что для писателей такого масштаба цензура не нужна – им можно доверять. Этот вопрос обсуждался 21 октября 1963 г. на заседании Президиума ЦК КПСС, проходившем в присутствии Хрущева («За обедом», как записано в протоколе № 120а). В этом протоколе заседания обсуждавшийся вопрос озаглавлен «О письме Эренбурга»¹³. Имеется в виду следующее его письмо Хрущеву:

«Москва, 18 августа 1963

Дорогой Никита Сергеевич, еще раз благодарю Вас за беседу, она произвела на меня глубокое впечатление и придала бодрости. Беда в том, что о Ваших словах, видимо, не знают товарищи, ведающие литературными делами. Наверное, Вы помните, что о предложении пере-

⁹ Там же. Г. Серебрякова была репрессирована как жена Г.Я. Сокольниковой, товарища большевистской юности Эренбурга, не реабилитированного Хрущевым как «врага народа»; по возвращении из Гулага она продолжила работу над цензурно бесприкрытыми в СССР романами о Карле Марксе.

¹⁰ Новый мир. 1963. № 3. С. 19.

¹¹ 11 писем из этого потока приводятся в книге: Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967 / Издание подготовлено Б.Я. Фрезинским. М.: Аграф, 2006; далее при ссылках: ПЗ и номера писем.

¹² *Илья Эренбург*. На цоколе истории. Письма 1931–1967 / Издание подготовлено Б.Я. Фрезинским. М.: Аграф, 2004. С. 547, далее при ссылках: П2 и номера писем.

¹³ Президиум ЦК КПСС 1954–1964: в 3 т. Т. 1. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы / Главный редактор А.А. Фурсенко. М.: РОССПЭН, 2004. С. 761; текст письма Хрущеву от Эренбурга (оно в ЦК КПСС зарегистрировано 21 октября 1963 г.) и текст письма от Н.В. Лесючевского от 15 августа, которое он переслал Хрущеву, напечатаны в т. 3 «Постановлений 1959–1964» (М.: РОССПЭН, 2008. С. 593–594). Там же (с. 1039) записано: «Решение о письме И.Г. Эренбурга в протокол не записывалось». Письмо Хрущеву см. также: Вопросы литературы. 1993. № 4. С. 309–310.

делать напечатанные в журнале “Новый мир” части моих воспоминаний я Вам говорил и сказал, что такого рода переделка произвела бы нехорошее впечатление и у нас, и за рубежом. Вы со мной согласились. Я сообщил об этом издательству “Советский писатель” и в ответ получил прилагаемое при сем письмо¹⁴. Следовательно, я по-прежнему в безвыходном положении. Вы сами, конечно, решите, как быть. Искренне уважающий Вас И. Эренбург»¹⁵.

После сообщения Хрущева о письме писателя Президиум ЦК КПСС принял постановление: «Вызвать <Эренбурга. – Б.Ф.>, сказать: “вы сами будете цензором”»¹⁶. Не зная об этом, Эренбург продолжал работать над шестой книгой мемуаров. Поскольку никакого ответа от Хрущева он не получил и его никто в ЦК КПСС не вызывал, он понял, что аппарат ЦК хрущевские обещания уже не выполняет.

Тем не менее Эренбург продолжал свою работу на том уровне открытости, как и начал ее. Сошлюсь на свидетельство Б.М. Сарнова, именно в 1956–1967 годы встречавшегося с Эренбургом (есть основания считать их отношения достаточно доверительными): «Да, выдавая на гора – книгу за книгой – свои мемуары, Эренбург действительно работал на пределе возможностей. Нередко даже с боями и неизбежными потерями он *переступал* этот последний предел. Но именно потому, что он не мог удержаться от того, чтобы хоть намеком коснуться какой-нибудь запретной темы, не боялся то и дело приближаться к “рубежу запретной зоны”, – именно поэтому его намеки часто бывали туманными и маловразумительными, нередко превращаясь в загадку, которую просто невозможно было разгадать»¹⁷. При комментировании текста мемуаров это обстоятельство приходится учитывать, давая необходимые разъяснения современному читателю.

Главной проблемой при работе над шестой книгой воспоминаний для Эренбурга оказалась обещанная читателям глава о Сталине. Приведем об этом свидетельства трех эренбургских собеседников с разным стажем – очень близкого к Эренбургу Б.А. Слуцкого, давнего знакомого Д.С. Данина и случайного собеседника, прежде писателю незнакомого Р.А. Медведева.

Вот, как всегда, лапидарное, написанное после смерти Эренбурга воспоминание Бориса Слуцкого: «Очень долго писалась глава о Сталине. Несколько лет Сталин был одной из главных тем разговоров и размышлений (конечно, не у одного И.Г.). И.Г. пытался определить, выяснить закономерность сталинского отношения к людям – особенно в 1937 году – и пришел к мысли, что случайности было куда больше, чем закономерности. Однажды я спросил у И.Г., почему Сталин любил его книги. Ответено было в том смысле, что ценилась их политическая полезность и международный охват. Вообще говоря, Сталин, смысл Сталина был орешком, в твердости которого И.Г. не раз признавался»¹⁸.

Теперь куда более эмоциональный и большой отрывок из дневника 1967 года Даниила Данина¹⁹: «1 сентября. Рано утром позвонил Саша Мацкин²⁰: “Умер Илья Григорьевич” <... > Саша М. сказал, что будущее уготовит Эренбургу репутацию Герцена. Хотелось мгновенно возразить – “какое время – такой и Герцен!” Но я удержался, потому что сильнее была переполненность чувством свалившейся беды. И это правда – свалилась общественная беда: вымер действующий мамонт, на протяжении последних полутора десятилетий бывший оплотом добрых начал. Или – по меньшей мере – живым противостоянием злу. Он был анти-шолоховским

¹⁴ Директор издательства Н. Лесючевский писал Эренбургу, что ему следует учесть справедливую партийную критику и тогда издательство сможет выпустить третью и четвертую части мемуаров отдельным изданием.

¹⁵ См.: ПЗ. № 512.

¹⁶ «Президиум ЦК КПСС 1954–1964». Т. 1. С. 761.

¹⁷ Сарнов Б. Скуки не было: вторая книга воспоминаний. М.: Аграф, 2005. С. 65–66.

¹⁸ Слуцкий Б. О других и о себе / Сост., подгот. текста, примеч. Петра Горелика; вступ. статья Никиты Елисеева. М.: Вагриус, 2005. С. 206–207.

¹⁹ С Д.С. Даниным, знавшим Эренбурга еще перед войной, меня познакомил Дж. Рубинштейн в 1980-е.

²⁰ С А.П. Мацкиным меня познакомил А.Я. Савич, и я записывал его воспоминания об Эренбурге.

полусом. И оказалось, что уже одно это – много! Впрочем, всю жизнь вся его сила бывала по преимуществу в противостоянии чему-нибудь или кому-нибудь. А когда он *стоял*, а не противостоял, силы особой не было <...> Спрашиваю себя: любил ли я его? Очень! <...> 2 сентября. Все перезваниваются второй день: “умер Эренбург”. И у всех одна поминальная фраза: “ушла целая эпоха”. Это колоссально много, если можно так говорить о человеке. В наши времена нет абсолютно безупречных. Но течение жизни подытоживает отдельные списки благодеяний и преступлений каждого. Даже у Булгакова, даже у Пастернака, даже у Солженицына есть оба списка: длинный и короткий. У Эренбурга длинными были оба. Однако список благодеяний все-таки наглядно длиннее... Редкая беспомощность истории: ее глобальное хитроумие не сумело до конца одолеть совестливости своего слуги! Он жил в мировой суете и не растворился в ней. Мне-то, как и многим, вообще не следовало бы ни думать, ни говорить о нем хотя бы на йоту осуждающе. Мы-то были в те годы нулями истории (если не отрицательными величинами). Но дело в другом... Мне не забыть, как в октябре-декабре 41-го, после моего выхода из окружения под Вязьмой-Семлевым, он спас меня в Куйбышеве от трибунала. Не иносказательно, а буквально <...> И еще не забыть долгой ночи у него на улице Горького в 64-м году. Разговор длился с половины десятого до четырех часов утра <...> Длился действительно многочасовой монолог И.Г. Он не мог остановиться в бесконечном самооправдании, объясняя свое понимание Сталина – разветвленное, лукавое, двусмысленное понимание. Крошил сигареты в трубку (совсем как Сталин крошил “Герцеговину флор”). Отдымил почти целую пачку, так взъерошивало – так побуждало к протесту то, что он говорил. <...> Он сам был бы счастлив, когда бы случилось так, что на свете не существовало бы никогда никакого Сталина. Но Сталин существовал. И он, Эренбург, существовал одновременно...»²¹...

И, наконец, воспоминания историка-диссидента Роя Медведева, оказавшегося у Эренбурга случайно (в конце 1965 г., будучи в гостях у автора тогда еще неопубликованной в СССР книги «Крутой маршрут» Е.С. Гинзбург, он познакомился с секретарем Эренбурга Н.И. Столяровой и рассказал ей о своей, законченной вчерне, книге о сталинизме; по прочтении ее рукописи Н.И. попросила разрешения показать ее Эренбургу; когда И.Г. познакомился с рукописью, он пригласил Медведева зайти к нему для беседы²²): «Илья Григорьевич принял меня очень приветливо, усадил на диван и устроился сам в кресле напротив. На столе лежала моя рукопись. Эренбург не стал ни хвалить, ни критиковать ее, не делал он и замечаний по тексту. У него в руках не было никаких заметок, да и на страницах рукописи я не обнаружил позднее никаких пометок. <...> Он ничего не спрашивал обо мне лично, о моей семье, о мотивах, которые побудили меня писать о Сталине. Он сразу начал говорить о том, как он понимает сталинизм, о событиях 30–40-х годов и о Хрущеве. Это был весьма продолжительный и интересный монолог. Когда я пытался что-то возразить, Эренбург меня вежливо выслушивал, но потом продолжал свой рассказ, не вступая в полемику. Эренбург непрерывно курил, закуривая от кончающейся сигареты новую. <...> Многое из того, что говорил Эренбург, вызывало у меня несогласие. Он испытывал острую неприязнь к Хрущеву и не скрывал этого. Хрущев, по мнению Эренбурга, был слишком грубым, импульсивным и необразованным человеком. О Сталине писатель, напротив, говорил с явным уважением, хотя и осуждал его за репрессии. Эренбург пытался объяснить массовый террор 30-х годов кавказским происхождением Сталина. «На Кавказе, – говорил мне Илья Григорьевич, – еще очень живы традиции и обычаи кровной мести. Поэтому, устраняя кого-нибудь из своих врагов, Сталин должен был устранить и всех родных и друзей своего врага, чтобы избежать мести». <...> Очень много рассказывал мне

²¹ Цитирую записи Д. Данина «Монолог-67» по ксерокопии авторской машинописи, подаренной им 30 сентября 1990 г. Дж. Рубинштейну.

²² Судя по всему, книга Р. Медведева не оказалась Эренбургу полезной при написании главы о Сталине; тем не менее он счел целесообразным повидаться с ее автором, чтобы изложить ему некоторые свои соображения о Сталине. В итоге Эренбург написал не портретную главу, а главу о смерти Сталина и в ней привел свои соображения о его личности.

Эренбург о последних месяцах жизни Сталина, о “деле врачей”, о начавшейся тогда недолгой, но дикой и интенсивной антисемитской кампании <...> Эренбург гордился своим поведением в эти февральские дни 1953 года <...> Наша встреча затянулась на несколько часов. Эренбург говорил много для меня важного и интересного, по-прежнему не задавая никаких вопросов. Физически Эренбург казался слабым, даже дряхлым стариком, но его суждения были острыми и быстрыми, он не уставал говорить, а его глаза поражали ясностью и выразительностью. Я не видел никаких признаков интеллектуального увядания»²³.

Вернемся к хронике 1964 года. Вот запись в дневнике А.К. Гладкова от 16 января: «И.Г. написал к новому тому мемуаров краткое вступление, еще раз напоминающее, что это только воспоминания, а не история... Он говорит слабо и скептически улыбаясь, что больше не видит никакой логики в том, что происходит: в настроениях верхов, в капризах цензуры. Он это повторяет: логики нет, все случайно. Рассказывает мне о новой последней книге “Люди, годы, жизнь” <т. е. о шестой части. – Б.Ф.>. Он написал 22 главы, осталось 8, в том числе и глава о Сталине. Читает мне куски о Михоэлсе и его смерти, о борьбе с «космополитизмом», о 46-м годе, о разговорах с Маленковым об антисемитизме и пр. <...> Читает мне кусок из главы о Фадееве, который мне не нравится: он к нему слишком снисходителен, и вообще о Сталине. Он признает в нем своего рода “гениальность”, при всем зверстве, коварстве и злобе. По его словам, все крупные иностранцы, встречавшиеся со Сталиным, были им очарованы. И в то же время он нещадно матерился и был груб с подчиненными и зависимыми от него людьми. Мат вообще процветал наверху, и даже выдержанный Молотов матерился. <...> Бухарин рассказывал И.Г., что Сталин очень был тронут откликом Пастернака <на смерть Аллилуевой. – Б.Ф.> и долго держал его у себя на столе под стеклом, после того уже, как вырезка совсем пожелтела. Поэтому он хорошо относился к Б.Л. Тот написал это вполне искренне: это был чистый порыв. <...> О том, как Раскольников приходил к нему в Париже, смятенный от страха и просил совета: возвращаться ли. О том, что предстоит 50 лет азиатско-африканского национализма. О Мао и о личном воспоминании о приеме у него. ...В общей сложности я просидел у него часа три. Он мне показался уставшим и постаревшим, потерявшим свой обычный задор. Все время курит сигары, но говорит почти непрерывно, без всякой охоты вслушиваясь в мои редкие реплики. О его версии смерти Михоэлса: почему его не арестовали и не расстреляли, как других: “игра ума, развлечение Берии”»²⁴.

В марте 1964 года шестая книга «Люди, годы, жизнь», описывающая послевоенное время до начала счастливой весны 1953 года, была передана в «Новый мир»; многое в ней вызвало возражение редакции, опасавшейся цензурных запретов и придинок. 20 мая Эренбург писал Полонской: «Я все еще сижу над правкой шестой части; ее будут печатать в “Новом мире”, кажется, начиная с июля»²⁵.

Подготовка рукописи в журнале шла полным ходом, но главу о Фадееве Твардовский печатать категорически не захотел. Те друзья Эренбурга, что прочли шестую часть в рукописи, понять Твардовского не могли²⁶. Эренбург с решением редактора журнала смирился и написал для читателей объяснение, почему в журнале не печатается написанная им глава о Фадееве. Твардовского это объяснение возмутило, и 19 мая 1964 г. он написал Эренбургу: «Я еще раз

²³ Медведев Р. Три встречи с Ильей Эренбургом // Еврейское слово. М., 2004. 14–20 января. С. 7.

²⁴ Дневники Гладкова за 1964 г // Новый мир. 2014. № 1. При чтении записей Гладкова об Эренбурге надо всегда держать в уме важное обстоятельство: Эренбург был очень закрытый человек, он практически ни с кем из своих посетителей, исключая тех, кому он давал читать рукописи, не говорил о своих проблемах, никогда не плакался. Поэтому о его реальных возможностях по части публикации текстов они не имели понятия. И судили о напечатанном, как об изначально написанном.

²⁵ ПЗ. № 543.

²⁶ Скажем, О.Г. Савич, дававший рукопись Эренбурга прочесть своим друзьям, писал ему в апреле – мае 1964-го: «Никто не понимает, почему Твардовский не хочет Фадеева» (ПЗ. № 447); теперь о Фадееве напечатаны весьма нелицеприятные воспоминания (см., хотя бы, записки М. Слонимского: Звезда. 2010. № 7. С. 122–130); они делают позицию Твардовского еще более неоправданной.

перечитал главу, посвященную Фадееву, и, к сожалению, решительно не считаю возможным ее опубликование в «Новом мире». Мотивы свои я высказал Вам на словах <31 марта 1964 на встрече в редакции журнала. – Б.Ф. >, могу лишь повторить здесь, что Фадеева Вы, конечно, не желая того, рисуете в таком невыгодном и неправильном свете, что, напечатав ее, я поступился бы дорогой для меня памятью друга и писателя ²⁷<...> Предложенная Вами «связка», которую Вы заключаете в скобки, соглашаясь опустить эту главу, не может быть принята, – это немыслимое дело – указывать, что здесь опущена глава, которая не нравится редактору журнала, – это курам смех. Подумайте и Вы еще раз, Илья Григорьевич, о том, как выйти из этого затруднительного положения»²⁸. По просьбе Твардовского Эренбург изменил «связку» на неубедительные слова: «Я <...> написал об Александре Александровиче. Эту главу, как и некоторые другие страницы, я решил отложить до выхода книги отдельным изданием. Хочу, чтобы читатель, знакомясь с этими страницами, имел перед собой текст всей книги в целом»²⁹. 24 июня 1964 Твардовский ему ответил недвусмысленно резко: «Я еще раз прочитал – на этот раз в гранках – шестую часть Ваших воспоминаний. Как редактор, я вынужден буду исключить из текста некоторые фрагменты, которые мы уже долго обсуждали, по поводу которых торговались и переписывались. Это мое окончательное решение, и я обязан уведомить Вас, что если перечисленные ниже купюры не будут сделаны, я не смогу подписать гранки к печати». Далее следовал перечень из пяти необходимых изъятий (Фадеев, «ренегат Фаст», «нераспознанный» Николай Иванович (т. е. Бухарин) и т. д.³⁰). «Сражение» продолжалось. На следующий день Эренбург ответил Твардовскому по каждому из пяти пунктов, уступив вышедшего из компартии США Фаста, но настаивая на Бухарине. Письмо заканчивалось печально: «Я огорчен тоном Вашего письма, так непохожим на тон нашего разговора в редакции. Я приписываю это дурному настроению, а не Вашему личному отношению ко мне»³¹. 2 июля 1964 г. А.К. Гладков читал у себя на даче от кого-то полученные гранки с 6-й книгой мемуаров Эренбурга и записал в дневнике: «Прочитал тут в две ночи в гранках журнала последнюю часть “Люди, годы, жизнь” Эренбурга. Общее впечатление – разочарование. В конце книга не поднимается, а как-то падает. Все сбивчиво и мелковато. <...> Вспоминаю рассказы И.Г. о годах, описанных в этой части мемуаров: он говорил о них ярче, острее, чем написал. Много просто опущено. Возникает ощущение, что автор думает одно, а пишет другое»³². <...> Новомировские гранки уже были сильно искорежены цензурой, чего Гладков, понятно, не знал. Но и это был еще не окончательно разрешенный цензурой вариант.

22 июля 1964 г. первые главы шестой книги были сняты Главлитом из седьмого номера журнала и переданы в ЦК КПСС (причем редакции не разрешили сообщить об этом автору). 25 июля июльский номер журнала подписали к печати без мемуаров Эренбурга. Вопреки заверениям Хрущева, шестую часть «Люди, годы, жизнь» в аппарате ЦК КПСС подвергли жестокой цензуре. В дневнике В.Я. Лакшина 5 августа 1964 г. записано: «Твардовского вызвал Поликарпов и показал докладную записку в Президиум ЦК <...> Семь страниц дикой хулы на врага человечества и русского народа Илью Эренбурга, а восьмая страница куца – печатать, но с

²⁷ 8 марта 1956 г. Фадеев полностью разорвал с Твардовским все отношения, отправив ему соответствующее письмо, а 13 мая 1956 г. на даче в Переделкино покончил с собой, и Твардовский не пошел на его похороны. 11 мая там же, в Переделкино, он в очередной и, как оказалось, последний раз заходил к кинорежиссеру Э.И. Шуб, которая записала разговор с ним. Тогда Фадеев, сказав, что «самые интересные для него люди его поколения умерли», признался ей, что «интересны ему люди старшего поколения: Маршак – иногда злой, но дивный старик, Эренбург, Федин, Сарьян» (Фадеев А. Письма и документы. М., 2001. С. 343–344).

²⁸ ПЗ. № 446.

²⁹ Новый мир. 1965. № 2. С. 44–45. Глава о Фадееве впервые напечатана в издании пятой и шестой книг мемуаров Эренбурга (М., 1966).

³⁰ Копия (архив автора).

³¹ ПЗ. № 546.

³² Дневники А.К. Гладкова за 1964 г. // Новый мир. 2014. № 2.

поправками. Твардовский сказал: «Не вижу логики. Запрещать, так запрещать»³³. В датированной 13 августа 1964 «Записке Идеологического отдела ЦК КПСС о шестой книге воспоминаний И.Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь»» утверждалось, что «...критика культа личности <Сталина. – Б.Ф.>: нередко приобретает в воспоминаниях И. Эренбурга неверный характер, а общая картина послевоенной советской действительности дается односторонне, в мрачных красках и серых тонах. Автор выделяет главным образом факты отрицательного характера и лишь вскользь касается положительных явлений <...>. Обращает на себя внимание настойчивое подчеркивание И. Эренбургом еврейского вопроса. Становится очевидным, что автор мемуаров ведет скрытую, но достаточно очевидную полемику с партийной точкой зрения по данному вопросу. Эта точка зрения была высказана товарищем Н.С. Хрущевым на встрече с деятелями литературы и искусства 9 марта³⁴ 1963 года. "Со дня Октябрьской революции в нашей стране евреи во всех отношениях находятся в равном положении со всеми другими народами СССР, – говорил Н.С. Хрущев. – У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывают его, поют с чужого голоса". Автор мемуаров, между тем, пишет: "...еврейский вопрос – это вопрос живучести антисемитизма"...». Окончательный вывод делается жестко: «Исходя из всего изложенного считаем нецелесообразным публикацию мемуаров И. Эренбурга в данном виде. Редакции журнала следовало бы обратить внимание автора на многочисленные случаи тенденциозного освещения фактов, на предвзятость, недобросовестность, политическую бестактность многих оценок и характеристик, потребовав от него внесения необходимых уточнений и исправлений. Что же касается содержащихся в мемуарах высказываний о литературе и искусстве и суждений по еврейскому вопросу, то, как видно, И. Эренбург не только не сделал выводов из партийной критики этих разделов в предыдущих книгах его воспоминаний, но фактически вступил в полемику с этой критикой, пытаясь отстоять свои неверные позиции. Публикация в таком виде этих разделов представляется поэтому совершенно недопустимой. Тов. Твардовский, ознакомленный с настоящей запиской, признал обоснованность содержащихся в ней критических замечаний по мемуарам И. Эренбурга»³⁵.

13 августа эта Записка была направлена членам Президиума ЦК.

14 августа 1964 года Эренбург обратился с последним, как оказалось, письмом к Хрущеву. Напомнив об их беседе год назад «наедине как мужчина с мужчиной» и о том, что «после той встречи я вышел ободренный», Эренбург заметил: «Надеюсь, что и это письмо будет передано Вам лично» и продолжал: «Мы говорили тогда о том, что мне нужно закончить мою книгу воспоминаний. Я сделал это. А.Т. Твардовский и редколлегия "Нового мира" по получении рукописи попросили меня сделать кое-какие изменения, что и было мною исполнено. Редколлегия объявила печатно, что публикация будет завершена в 1964 году. Начало шестой и последней части воспоминаний должно было появиться в июльском номере журнала. Недавно редколлегия уведомила меня, что она вынуждена была отказаться от публикации шестой части по указанию сверху и что она бессильна что-либо изменить <...> Я работал над этими воспоминаниями в общей сложности более пяти лет. Поэтому для меня они являются итогом очень важной работы. Вы, я уверен, поймете, как больно писателю, особенно пожилому, видеть свое произведение обрезанным по живому. Кроме того, читатели как в нашей стране, так и за рубежом без труда поймут, что публикация последней части запрещена. Лично для меня, Никита Сергеевич, это большое горе <...> Мы оба уже немолоды, и я уверен, что Вы поймете меня и дадите разрешение журналу опубликовать мою работу»³⁶.

³³ Лакишин В. Новый мир во времена Хрущева: дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 244.

³⁴ На самом деле речь произнесена 8 марта.

³⁵ Полный текст «Записки» см.: Источник. 2000. № 2. С. 103–106. «Записка» с резолюциями на ней хранится в АПРФ (Ф. 3. Оп. 34. Д. 288. Л. 70–72).

³⁶ ИТ. № 547.

Неизвестно, было ли передано Хрущеву это письмо Эренбурга. В публикации текста «Записки» Идеологического отдела о шестой книге мемуаров Эренбурга от 13 августа 1964 г. утверждается, что эта записка была разослана 5 сентября членам Президиума ЦК КПСС и секретарям ЦК, а 17 сентября ее предложения одобрены на заседании Президиума ЦК, на котором председательствовал Хрущев. Протокол № 159 этого заседания опубликован лишь частично, и его пункт XX вообще не включен в толстенный том 1, как нет его и в томе 3 постановлений к протоколу № 159³⁷. Так или иначе, ответа от Хрущева Эренбург не дождался. А 14 октября 1964 г. решением Пленума ЦК КПСС Н.С. Хрущев был отрешен от власти. Эренбург лишился последней надежды на поддержку «сверху». Он сделал окончательную правку текста, в результате чего сильно пострадали шесть глав книги. И твердо решил более не уступать ни пяди рукописи.

20 октября 1964 г. Твардовский направил в ЦК КПСС следующее письмо:

«В связи с рассмотрением вопроса об опубликовании шестой книги И. Эренбурга “Люди, годы, жизнь” сообщаю, что мною получено от него письмо и листы верстки, на которых были сделаны соответствующие пометки. И. Эренбург пишет, что из 126 предложенных купюр или изменений им принято целиком 53 купюры или поправки, в 62 местах сделал исправления, а в 11 оставил текст неизменным. “В случае настояния на дальнейших купюрах, – говорит Эренбург, – я предпочту отказаться от напечатания заключительной части”. И далее: “Это не моя первая книга, а по всей вероятности последняя. После очень долгой жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь”. К листам верстки приложено отдельное пояснение, почему некоторые абзацы оставлены в прежнем виде, а некоторые только частично изменены. Прошу рассмотреть окончательно этот вопрос. А. Твардовский»³⁸.

11 ноября 1964 г. последний ход в этой затянувшейся многоходовке сделал Идеологический отдел ЦК КПСС. Он принял «Записку о реакции И.Г. Эренбурга на замечания по шестой книге его мемуаров»³⁹. Начинается она со следующей констатации: «Если прежде И. Эренбург категорически отказывался вносить какие-либо изменения и поправки в книгу, то теперь он пошел на значительную переработку текста. Писатель полностью принял примерно половину пожеланий редакции, сделав купюры или изменив текст, с другими согласился частично, а некоторые замечания учитывать не стал, ссылаясь на то, что не понимает их смысла». Далее шел подробнейший перечень всех уступок Эренбурга и вывод: «Все это свидетельствует о том, что на этот раз писатель внимательно отнесся к высказанным ему замечаниям и пожеланиям. Вместе с тем и в настоящей редакции некоторые оценки и характеристики явлений искусства отражают личные, весьма субъективные взгляды и пристрастия писателя, которые могут быть оспорены в критике». И, наконец, итоговый вывод: «Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным не рассматривать более в ЦК КПСС вопрос о публикации шестой книги мемуаров И. Эренбурга в журнале “Новый мир”, передав его на решение редколлегии журнала. При этом считаем необходимым обратить внимание т. Твардовского на изложенные выше принципиальные замечания и предложить ему продолжить работу с автором». На этой Записке резолюция партийного ареопага: «Согласиться. *Ильичев. Пономарев. Андропов. Суслов*» и – помета: «Ознакомился. А. Твардовский 29/XII 64. Листы верстки получил А. Твардовский».

³⁷ Как указывается в публикации «Записки» (с. 106), в верхней части ее первого листа проставлены штампы: «Протокол Президиума ЦК № 159, пункт XX». В кастрированной публикации протокола № 159 («Президиум ЦК КПСС 1954–1964. Т. 1. М., 2004. С. 857–858, 1177) пункта XX нет, в тех выборочных семи пунктах, что опубликованы, Эренбург и его мемуары не упоминаются. Допускаю, что означенная «Записка» Президиумом ЦК утверждена не была.

³⁸ Источник. 2000. № 2. С. 107–108. Письмо хранится в АПРФ (Ф. 3. Оп. 34. Д. 288. Л. 73).

³⁹ Источник. 2000. № 2. С. 108–109. Записка с резолюциями на ней хранится в АПРФ (Ф. 3. Оп. 34. Д. 288. Л. 70–72).

Вручив Твардовскому верстку мемуаров Эренбурга с отмеченными недопустимыми местами, в ЦК КПСС ждали от него дальнейшего «дожатия» Эренбурга, которому, таким образом, предстояли месяцы упорного сопротивления.

Еще до публикации в «Новом мире» Б.Н. Полевой напечатал в «Юности» из шестой книги мемуаров Эренбурга главу 7 (под названием «В южных штатах» в № 12 за 1963 г.) и главы 8 и 20 (под заголовком «Два портрета» в № 1 за 1965 г.).

Шестая книга «Люди, годы, жизнь» печаталась в 1–4 номерах «Нового мира» за 1965 год. Первый номер, посвященный сорокалетию «Нового мира», был сдан в набор еще 28 ноября 1964 г. и подписан в печать 13 января 1965 г. Он открывался статьей А. Твардовского «По случаю юбилея». Все добрые слова о мемуарах «Люди, годы, жизнь», которые были в ней сказаны, цензура вымарала. Третья главка статьи, посвященная опубликованным в журнале мемуарным книгам, заканчивалась фразой о том, что «с некоторыми оговорками в ряду названных мною документально-мемуарных книг можно рассматривать и книгу Ильи Эренбурга», затем сообщалось, что эти мемуары «вызвали горячие споры и подверглись критике», а также, что редакция «не может не разделить с автором ответственности перед читателем. Однако до окончания публикации воспоминаний И. Эренбурга в журнале было бы неправомерно давать им здесь исчерпывающую оценку». В первом номере напечатали четыре первые главы шестой части.

Уже по ходу печатания шестой книги редакция продолжала вести с автором бои по каждому номеру, настаивая на выполнении предложенных в ЦК КПСС поправок.

Последнее, что вызвало сильное давление редакции, была глава о турецком поэте-коммунисте Назыме Хикмете. После бегства из турецкой тюрьмы в 1951 г. он приехал в Москву и был обласкан властью, но вскоре потребовал отмены барского для себя режима жизни (вопреки совету Фадеева этого не делать: «Вам этого никогда не простят»⁴⁰). Его независимая политическая позиция порядком надоела аппаратчикам из ЦК КПСС. Потому текст главы Эренбурга о Хикмете вызвал у них такое острое неприятие.

Вот что писал 12 февраля 1965 г. Эренбург Б.Г. Заксу, который «вел» в «Новом мире» его мемуары: «Меня чрезвычайно удивило, что после разговора с Вами, когда Вы принесли мне верстку № <4, где печаталась глава 28 о Хикмете. – Б.Ф.>, и мы совместно установили, в каком виде должен быть напечатан текст, и после телефонного разговора с А.И. Кондратовичем, Вы вдруг 10 февраля сообщили Наталии Ивановне <Столяровой. – Б.Ф.>, что глава о Назыме Хикмете будет изъята. Я не могу с этим согласиться. Снова писать что-либо о Назыме Хикмете взамен этой главы сейчас не в моих возможностях, а обойти молчанием в книге воспоминаний близкого мне человека я считаю недопустимым. Моя фраза в письме А.Т. Твардовскому о том, что я предпочел бы снять главу, чем печатать ее с предложенными мне купюрами⁴¹, означала только протест против неслыханных изъятий, соответствующих духу и форме встречи < деятелей литературы и искусства с Хрущевым. – Б.Ф.> в марте 1963 года. Я вынужден предупредить Вас, что, если глава о Хикмете не будет восстановлена в крайнем случае с незначительными купюрами или поправками, то мне придется прекратить печатание шестой части в “Новом мире”»⁴².

Эта угроза Эренбурга означала скандальное запрещение текста окончания его мемуаров, на что власть идти не захотела, и 12 марта 1965 г. апрельский номер журнала был сдан в набор, а через месяц подписан к печати.

⁴⁰ Об этом писала в своих воспоминаниях спутница московской жизни Хикмета Вера Тулякова-Хикмет (Театр. 1988. № 11. С. 119–125).

⁴¹ Имеются в виду слова: «Товарищи, предлагавшие купюры, хотят из короткого портрета Хикмета изъять четверть. От образа Хикмета не остается ничего, кроме общеизвестных цитат из его стихов. Если бы купюры сводились к 2–3 фразам, я бы их сделал. Но если товарищи настаивают на всех купюрах, то я предпочитаю отложить печатание главы» (П2. № 553).

⁴² П2. № 553.

Приведем еще два характерных свидетельства из дневников А.К. Гладкова. Вот запись 20 мая 1965 г.: «Читаю полученный в Москве перед самым отъездом № 4 “Нового мира”. Окончание мемуаров И.Г. разочаровывает. Он делает вид, что “не понимает до конца” Сталина, хотя пишет, что не любил его и боялся. Но что значит “до конца”: не знает психиатрического диагноза, что ли? “Дела” Сталина ясны и мотивы тоже: неясны подробности отдельных злодеяний и их техника, а также не уяснены пропорции сложного сочетания лжи, демагогии, мифотворчества и реальной политики, хотя зловещий контрапункт этой исторической композиции уже не вызывает сомнения. И.Г. сознательно отступает перед задачей нарисовать образ Сталина. Окончанием мемуаров будут одинаково недовольны и сталинисты, и леваки и И.Г. будут бранить со всех сторон»⁴³. Опять-таки, Гладков не в курсе реального процесса нескончаемого цензурирования текста. В итоге многие читатели Эренбурга его критикуют (радостно или огорченно)... Перечитав шестую книгу уже в собрании сочинений Эренбурга, А.К. Гладков написал 25 марта 1967 года: «Просмотрел и последнюю часть мемуаров. Когда читал ее в первый раз, она мне больше понравилась. В эпоху “самоиздата” уклончивость и моральная неопределенность мемуариста кажутся непростительными. Многие (и я сам прежде) считал их лукавством, тактическим маневром, но м. б. он (автор-мемуарист) и в самом деле ничего не понимает. Все-таки многолетнее пребывание в среде Фадеевых, Тихоновых, Корнейчуков и разных европейских либеральных пасторов не прошли для него даром. Не чуждо ему и полубессознательное восхищение перед “волей” и “силой”, что так остро разглядела в И.Г. Надежда Яковлевна. Это сквозит через характеристику Фадеева, где так много недоговоренного, умолчанного, недодуманного». И запись на следующий день: «Я мог бы когда-нибудь написать об И.Г. точно и верно. Он все двусмысленное и сомнительное обходит в своих мемуарах, но это сквозит. Я знаю по его рассказам больше, чем он написал, но тоже конечно далеко не все. И все же, мне кажется, что полная правда для него была бы выгоднее психологически. Но для этого нужно мужество, которого у И.Г. нет, а м. б. нет и полноты понимания если и не всей исторической ситуации в целом, то хотя бы своего места в ней. В этом смысле его мемуары – неудача. Их прикладное значение важнее того главного, ради которого они затевались».

И, наконец, запись 1 сентября 1967 года, когда Эренбурга не стало: «Тут надо говорить о трагедии компромисса. Он всю жизнь занимался политикой и, мне кажется, сам презирал ее. Но у него была своя внутренняя линия обороны, где он не уступил бы ни пяди: это любимая им поэзия, проза, живопись. И он готов был всячески маневрировать в политике, а оставался неизменным в своих вкусах и пристрастиях в искусстве. Не думаю, что у него остались нецензурные рукописи (кроме нескольких м. б. глав мемуаров): он всегда писал, чтобы печататься, и в годы, когда стала развиваться “вторая литература”, это тоже его связывало и лимитировало его способность к откровенности. Я уже как-то вспоминал в связи с ним Иосифа Флавия: он бы вероятно оскорбился на эту параллель (он терпеть не мог Фейхтвангера), но от нее никуда не уйдешь»⁴⁴.

Отдельное издание пятой и шестой книг мемуаров вышло в «Советском писателе» в 1966 году. Без купюр шестая книга впервые напечатана в 1990 году.

На первых порах после смещения Хрущева в части советского общества существовала определенная надежда, что, освободившись от хрущевских шараханий, руководство страны продолжит линию XX съезда, но как только откровенное усиление просталинских тенденций показало тщетность этой надежды, критика, поначалу никак не откликнувшись на завершение многотомных мемуаров Эренбурга, выступила с несколькими статьями, негативно оценивающими эту работу писателя в целом. А. Метченко обвинял Эренбурга в потворстве модернизму

⁴³ Новый мир. 2014. № 3.

⁴⁴ Новый мир. 2015. № 6.

и размывании устоявшейся концепции истории советской литературы⁴⁵. Киевский публицист А. Михалевич в длинном сочинении «Ядро интеллигентности» обвинил мемуариста в отступлении от «ленинской идейности»⁴⁶. «Главный урок жизни Эренбурга, – утверждал он, – это урок интеллигента, который мог бы быть во всем главным с Лениным, который “дал петлю” от Ленина, и хотя самой жизнью во многом главным и существенным возвращен к Ленину, но не успел или не смог разобраться во всех действительно сложных уроках действительно сложной жизни». На этом ортодоксальная советская критика поставила точку в обсуждении эренбургских мемуаров, с тем чтобы долгие два десятилетия к ним уже не возвращаться.

Последние два-три года жизни Ильи Эренбурга возможности его встреч с читателями были резко сокращены и даже разрешенные встречи зачастую срывались. О каждой его встрече с читателями и о его выступлениях на этих встречах соответствующие отчеты направлялись в ЦК КПСС. 23–26 мая 1966 года Эренбург совершил поездку в Башкирию, где ему надлежало принять участие в избирательной кампании по выборам в Верховный Совет СССР⁴⁷ – он избирался в городе Бийске (это его депутатство обеспечивало ему необходимый для международной общественной деятельности статус). Вся поездка Эренбурга, его встречи с избирателями и выступления тщательно отслеживались, о чем можно судить по секретной записке в Президиум ЦК КПСС первого секретаря Башкирского обкома З.Н. Нуриева⁴⁸. В ней, в частности, приводился ответ Эренбурга на вопрос (возможно, провокационный): «Как вы относитесь к линии журнала “Новый мир” и критике ваших произведений?» – этот ответ Эренбурга, названный в записке «путанным», был таким: «После Октябрьской революции спросили у одного еврея, как он относится к советской власти. Он ответил: “Сочувствую, но помочь ничем не могу”. То же самое я мог бы сказать о журнале “Новый мир”. Что же касается моих ошибок, то ведь ошибался не я один. Ошибались и те, которые меня судили. А сейчас я уже не в том возрасте, чтобы менять свои взгляды».

Книга седьмая

По авторскому замыслу мемуары «Люди, годы, жизнь» завершались рассказом о событиях 1953 года, первыми страницами новой, послесталинской, эпохи. Однако, как свидетельствует В.Я. Лакшин, еще 31 марта 1964 года в редакции «Нового мира» Ильи Эренбург, приехавший поблагодарить журнал за сотрудничество, сказал, что «о хрущевских временах он собирается написать, но печатать не рассчитывает»⁴⁹.

Смещение Хрущева в октябре 1964 года подвело черту под «хрущевской оттепелью» и, надо думать, укрепило Эренбурга в его планах рассказать о только что пережитой и закончившейся эпохе. Однако до реализации этой идеи было еще далеко. 21 июля 1966 года литературовед Ю.Г. Оксман писал В.Б. Шкловскому: «18-го ездил в гости к Эренбургам в Истру <...> Илья Григорьевич заметно постарел, производит впечатление усталого человека. Занимается своим цветником, ничего не пишет, но жизнью интересуется. Судит обо всем спокойно»⁵⁰.

Эренбург приступил к работе над седьмой книгой лишь в конце 1966 года. Как и прежде, он разработал план следования глав – портретных и событийных. Книга, охватывающая события 1954–1963 годов, должна была состоять из 34 глав, 20 из них Эренбург завершил к августу

⁴⁵ Метченко А. Факты и пристрастия // «Литературная газета». 28 декабря 1965.

⁴⁶ Михалевич А. Ядро интеллигентности // «Молодой коммунист». 1966. № 9. С. 46–48. № 10. С. 52–64. См. также: Михалевич А. Письма с седьмого неба. Книга публицистики. М., 1968. С. 100–181.

⁴⁷ О его ироничном отношении к этой процедуре можно судить по употреблению кавычек в одной его фразе из письма к Полонской (27 мая 1966): «Я только что вернулся из Башкирии, куда ездил “избираться”» (ПЗ. № 574).

⁴⁸ Источник. 2000. № 2. С. 109–111.

⁴⁹ Лакшин В. Указ. соч. С. 215.

⁵⁰ Звезда. 1990. № 8. С. 138–139.

1967-го. Сохранился листок, на котором он выписал заголовки законченных глав: «1. Общая. 2. Съезд писателей. 3. 1954–1955. 4. Венгрия. 5. Индия. 6. XX съезд. 7. Роже Вайян. 8. Лето 1957. 9. Венгрия. 10. “Необходимые объяснения”, “Уроки Стендаля”. 11. Япония. 12. Еврейские дела. 13. Греция. 14. Шварц. 15. Двинск. 16. Стихи. 17. Армения. 18. Салат. 19. Всемирный Совет мира и китайцы. 20. Круглый стол»⁵¹.

Дальнейший план работы реконструируется так (названия глав привожу по черновым планам автора): 21. Полетаев. 22. Сарьян. 23. «Люди, годы, жизнь». 24. Франция. 25. Маршак. 26. 1962 год, XXII съезд. 27. Выставка в Манеже, обсуждение. 28. Хрущев. 29. Март 1963 г., Мальме. Собрание. Мрак. 30. Бухарин. 31. Шагал. 32. Ахматова. 33. Падение Хрущева. 34. Заключение.⁵²

Судя по черновым заметкам, новая глава о Бухарине должна была начинаться тем днем 1965 года, когда к Эренбургу пришли вдова Николая Ивановича А.М. Ларина и его сын художник Юрий Ларин; глава об Ахматовой – вручением Анне Андреевне в Италии премии Этна Таормина; в некоторых черновиках плана упоминаются главы о Ле Корбюзье (умершем в 1965-м) и тогда живом Паустовском⁵³.

В мае 1967 года Эренбург сообщил о начатой работе Твардовскому, а также передал для публикации несколько глав в журнал «Наука и жизнь» и в «Литературную газету» – и они были напечатаны⁵⁴.

Лето 1967 года было тяжелым для Ильи Григорьевича. 19 июля умер Овадий Герцович Савич – ближайший и давний его друг... В августе Эренбург продолжал работу над седьмой книгой – стучал на машинке (из-за ужасного почерка, который и сам, бывало, не мог разобрать, он уже очень давно привык писать на машинке). 9 августа на даче, работая над вторым вариантом 21 главы, Эренбург почувствовал нестерпимую боль в руке. Оказалось, это инфаркт. 30 августа врачи разрешили перевезти его в город. По дороге он нервничал: опасался, что повезут в больницу, а не домой. За несколько часов до смерти, лежа с обширным инфарктом, Эренбург еще диктовал письмо знакомой журналистке, бежавшей от военного переворота в Греции – пытался как-то ей помочь... 31 августа в половине девятого вечера, когда медсестра мерила пульс, сердце Ильи Григорьевича тихо остановилось...

Твардовский написал текст телеграммы родным Эренбурга, был на прощании с ним в ЦДЛ и на похоронах. 7 сентября 1967 года он написал вдове писателя Л.М. Козинцевой-Эренбург:

«Глубокоуважаемая Любовь Михайловна!

Понимаю всю неловкость обращения к Вам в эти дни по делам, которые могут лишней раз напомнить Вам о том, что еще и без того не могло улечься, но, думаю, Илья Григорьевич не осудил бы меня.

Незадолго до его болезни я получил (в ответ на мое письмо) уведомление от него о том, что 16 глав седьмой части “Люди, годы, жизнь” написаны и что он мог бы дать их мне прочесть, но, – писал он, – может быть лучше подождать, пока книга будет закончена.

Это позволяет мне просить Вас, Любовь Михайловна, дать, если возможно, не откладывая, мне на прочтение все то, что было написано до рокового дня. Я быстро прочту и уведомя Вас о видах редакции на конец этого или начало будущего года.

Если же Вам решительно не под силу еще заниматься этим, то простите меня.

⁵¹ Архив автора.

⁵² Там же.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Наука и жизнь. 1967. № 7 – главы 1, 5, 11; Литературная газета. 9 мая 1967 – глава 13 под заголовком «В Греции».

Для девятой книжки “Н<ового> М<ира>” я написал об Илье Григорьевиче. Конечно, с расчетом, чтобы прошло, но все же, надеюсь, по иному, чем другие.

Позвольте пожелать Вам сил и твердости душевной для выполнения тех задач, которые теперь встают перед Вами.

С глубоким уважением

Ваш А.Твардовский»⁵⁵.

Действительно, в сентябрьском номере «Нового мира» была напечатана статья Твардовского памяти И.Г. Эренбурга⁵⁶. Статья начиналась словами: «Это одна из тех утрат, которые выявляют значение личности ушедшего в масштабах куда более обширных, чем представлялось при его жизни». Приведу ту часть статьи, где речь идет о мемуарах Эренбурга: «Писательскую судьбу Эренбурга можно смело назвать счастливой. Это очень редко бывает, когда художник уже на склоне лет создает свою самую значительную книгу, как бы итог всей своей творческой жизни. Можно по-разному относиться к отдельным страницам книги “Люди. Годы. Жизнь”, но кто смог бы отрицать особую значительность этого произведения, и не только в объеме творчества Эренбурга, но и в объеме нашей литературы в целом на новом этапе ее развития в годы после XX съезда КПСС. Первым из своих литературных сверстников Илья Григорьевич Эренбург обратился к современникам и потомкам с этим рассказом о “времени и о себе”, исповедью своей жизни, так или иначе переплетенной с величественной и сложнейшей полувековой истории нашей революции. Он смело вышел из-за укрытия беллетристических условностей, натяжек и допущений, присущих общепринятой литературной форме, и обрел в этой своей книге высоко ценимую читателем непринужденность изложения и емкость содержания. В этом плане его у нас не с кем покамест сравнивать.

Пусть иные критики Эренбурга еще в период журнальной публикации его книги настойчиво советовали ему вспоминать в своих записках о том, чего он не мог знать и помнить, и забывать о том, что он знал и не мог забыть, писатель остался верен себе. И несмотря на все неизбежные издержки “субъективного жанра” мемуаров, романист, публицист, эссеист и поэт Илья Эренбург именно в этом жанре, привлекающем читателя искренностью и непосредственностью личного свидетельства о пережитом, в результате слияния всех сторон своего литературного таланта и жизненного опыта достигает, на мой взгляд, огромной творческой победы. Этой его книге, уже обошедшей весь мир в переводе на многие языки, безусловно обеспечена прочная долговечность».

Когда заместитель главного редактора «Нового мира» А.И. Кондратович прочел этот текст, он записал в дневнике: «Да, редко А.Т. писал так...»⁵⁷

Рукопись седьмой книги вместе с эссе о Шагале, написанным летом 1967 года для журнала «Декоративное искусство»⁵⁸, включенным в седьмую часть в качестве двадцать второй главы, была передана в «Новый мир»; ее стали готовить для 4 и 5-го номеров 1968 года.

Одновременно в ответ на пылкую просьбу сотрудников журнала «Литературная Армения» вдова писателя передала им для публикации семнадцатую главу о поездке в Армению в 1959 г. Глава была напечатана⁵⁹ с одной купюрой (выпустили весь абзац об армянском художнике-репатрианте Арутюне Галенце, у которого не сложились отношения с местной властью).

Из десяти глав, стоявших в № 4 «Нового мира», редакция, чтоб не злить цензуру, сняла две – о XX съезде и о Венгрии; из № 5 сняла главу о еврейском вопросе. В таком виде сохра-

⁵⁵ ПЗ. № 585.

⁵⁶ Новый мир. 1967. № 9. С. 285, 286. См. также: Твардовский А. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. М., 1971. С. 377–380.

⁵⁷ Кондратович А. Новомировский дневник. М.: Собрание, 2011. С. 179.

⁵⁸ Опубликовано в посвященном десятилетию журнала № 12 за 1967 г. (с. 33–37) под заголовком «О Марке Шагале» без сообщения о смерти писателя.

⁵⁹ Литературная Армения. 1968. № 2. С. 71–73.

нилась новомировская верстка седьмой книги⁶⁰. Однако и этот вариант цензура не пропустила. «Времена стали посуровее, – вспоминал А.И. Кондратович. – И самое печальное: не было самого И.Г. Живого его побаивались, мертвый никому не страшен. В 18 новых главах были совсем невозможные куски, абзацы, строчки. Две главы (одна из них о Бухарине⁶¹) Любовь Михайловна совсем не дала. Я отредактировал, точнее говоря, изуродовал текст, хотелось любой ценой напечатать, мы набрали этот текст, но прочитала вдова, за ней В.А. Каверин и решили: нет, в таком виде не стоит печатать. И в этом есть своя правда»⁶²...

А через год после смерти Эренбурга советские танки вошли в Прагу. Как невозможно представить Маяковского в Москве 1937 года, так нет места Эренбургу в августе 1968-го. Его время – время эзопова языка, упорной защиты культуры и диалога с властью – закончилось. Началась эпоха диссидентов – прямой речи и открытого неприятия режима.

В течение двадцати лет после смерти Эренбурга не было и речи о публикации седьмой книги его мемуаров, более того, самое упоминание о мемуарах «Люди, годы, жизнь» в печати вообще считалось нежелательным.

Так продолжалось до прихода к власти М.С. Горбачева, т. е. до «перестройки». В мае-июне 1987 года дочь писателя Ирина Эренбург отдала седьмую книгу «Люди, годы, жизнь» в многотиражный журнал «Огонёк». В предисловии к публикации редакция написала: «Мы предлагаем читателю неопубликованные главы <Это неточно: главы 1-я и 13-я, напечатанные в «Огоньке», были опубликованы раньше. – Б.Ф.> из незавершенного большого автобиографического произведения Ильи Григорьевича Эренбурга “Люди, годы, жизнь”<...> Когда мы готовили к печати рукопись, то иногда возникало желание убрать ту или иную фамилию, смягчить некоторые акценты, – словом, “причесать” исповедь И.Г. Эренбурга. Видимо, срабатывала привычка. К тому же с рядом оценок людей и событий мы не были согласны. Однако, изменив что-либо в рукописи, мы невольно попытались бы скорректировать мысли, да и саму жизнь этого человека <Это был откровенный обман читателей – главы 2 и 12 «Огонек» напечатал с серьезными политическими купюрами, напечатанные прежде главы 5-я, 11-я и 17-я вообще не включили в публикацию. – Б.Ф.>». В заключение «Огонек» процитировал слова Твардовского о мемуарах Эренбурга из некролога ему. Очень популярный тогда «Огонек», редактируемый В. Коротичем, в каком-то смысле ощущал себя наследником дела Твардовского – только в неизмеримо более легких условиях существования. Коротич напечатал текст 17 глав седьмой книги мемуаров Эренбурга (15 из них – впервые)⁶³, отказавшись от их нумерации – так как признаться в сделанных купюрах и пропусках трех глав, видимо, постыдился.

Тираж «Огонька» в то время был полтора миллиона экземпляров. Можно представить себе, сколько у него было читателей. Приведу впечатление о картине страны, возникшее при чтении седьмой книги мемуаров Эренбурга у одного из самых верных и продвинутых советников М.С. Горбачева. 14 июня 1987 г. А.С. Черняев записал в дневнике: «В трех номерах “Огонька” – заключительные главы Эренбурга (“Люди, годы, жизнь”). Описывает хрущевские годы. И какими же идиотами выглядим мы все – наше общество, закомплексованное на догмах, страхах, подозрительности, ненависти. Страшное политическое бескультурье при уникальном духовном богатстве внутри почти каждого причастного к интеллигентской среде. Да... здорово Сталин и сталинизм поломали наш народ»⁶⁴.

⁶⁰ Архив автора.

⁶¹ Видимо, речь идет о неопубликованном тогда тексте главы, написанной для четвертой книги мемуаров.

⁶² Кондратович А. Указ. соч. С. 180.

⁶³ Огонек. 1987. № 22. С. 22–25 – главы 1, 2, 3 (2-ю главу – о Втором съезде писателей – напечатали, удалив слова о Шолохове); № 23. С. 22–26. Главы 4, 6, 7, 8, 9; № 24. С. 28–31, главы 10, 12, 13, 14 (12-я, еврейская, глава напечатана с тремя серьезными политическими купюрами); № 25. С. 22–26. Главы 15, 16 (единственная глава, номер которой был указан), 18, 19, 20. Не напечатаны главы 5, 11, 17.

⁶⁴ Черняев А. Совместный исход. Дневник двух эпох 1972–1991 годы. М.: РОССПЭН, 2010. С. 709.

Впервые весь полный свод мемуаров Эренбурга без цензурных изъятий был представлен нами в трехтомном издании 1990 года. Всего в семи книгах мемуаров Эренбурга (седьмая – незакончена) – 218 глав. В процессе подготовки первого бесцензурного издания мемуаров выяснилось, что не имеется белой авторской рукописи их полного бескупюрного текста. Писатель, увы, относился к своему архиву достаточно небрежно; еще 9 октября 1960 года он писал литературоведу С.М. Лубэ: «Архив мой в отвратительном состоянии. Все, что относится к довоенному времени, пропало, а остальное, благодаря характеру, как моему, так и товарищей, которые со мной работали, представляет нечто среднее между горой и мусорной ямой»⁶⁵. Безусловные утраты части эренбурговского архива произошли и после смерти писателя, и при ликвидации его квартиры; хотя основная часть бумаг, переданная на хранение в Российский государственный архив литературы и искусства, была разобрана и тщательно описана.

Бескупюрный текст мемуаров восстанавливался нами на основе подчас разрозненных рукописей шести частей «Люди, годы, жизнь» (беловых и черновых, включая многочисленные обрезки правленной авторской машинописи), хранившихся в государственных архивах и частных собраниях (с учетом всех прижизненных публикаций). Восстанавливались все купюры, сделанные по требованиям многоэтапной цензуры (редакционной и главлитовской) за исключением той авторской правки, что имела не цензурный, а сугубо стилистический или уточняющий фактический характер.

Огоньковская публикация седьмой книги, как затем и полное издание всех частей мемуаров, выпущенное (без единой купюры!) «Советским писателем» в 1990 году, не стали политической сенсацией, подобно первым шести книгам в «Новом мире», – изменилось время, планка гласности резко поднялась, уровень информированности читателей заметно вырос⁶⁶. Критика не отреагировала на новое издание мемуаров, которое пришлось ждать почти четверть века. Это не означает, что Твардовский ошибался, предрекая мемуарам «Люди, годы, жизнь» прочную долговечность. Думаю, что они будут жить как литературная панорама, запечатлевшая не только уникальный жизненный путь автора с его иллюзиями, сомнениями, заблуждениями, надеждами и неизменной верой в вечную силу искусства, но и картину первых шестидесяти лет истории XX века Европы, ее культуры, ее политической жизни.

Завершая это вступление к третьему тому мемуаров «Люди, годы, жизнь», хочу вспомнить слова Н.Я. Мандельштам из письма Илье Эренбургу, написанного в нелегкую для него пору марта 1963 года: «Ты знаешь, что есть тенденция обвинять тебя в том, что ты не повернул реки, не изменил течение светил, не переломил луны и не накормил нас лунными коврижками. Иначе говоря, от тебя хотели, чтобы ты сделал невозможное, и сердились, что ты делал возможное. Теперь, после последних событий, видно, как ты много делал и делаешь для смягчения нравов, как велика твоя роль в нашей жизни и как мы должны быть тебе благодарны. Это сейчас понимают все»⁶⁷.

Борис Фрезинский

⁶⁵ РГАЛИ. Ф. 1204. ОП. 2. Ед. хр. 745. Л. 15.

⁶⁶ Как теперь понятно, эта информированность зачастую оказывалась непрочной.

⁶⁷ ПЗ. № 530 (март 1963).

Книга шестая

1

Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лавалю, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас – что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно – он сыграл слишком видную роль в уничтожении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхищался, скорее всего, от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX века, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война – держались, а только спало напряжение – многие слегли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа – жили трудно, многие впроголодь, работали через силу, и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи – забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат...» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется, – у него ведь второй аттестат, вторая зрелость... Мы слишком хорошо помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, гадали, мечтали – и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался – не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно...» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж – тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллин – там демобилизовался, а по дороге зашел ко мне «отвести душу».

Профессор сказал мне об усах, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились...» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го – долго не мог взглянуть на войну со стороны.

Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться – мы все ею отравлены.

Прежде я мечтал: кончится – отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы – а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество – отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж). Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом – то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутили говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть – люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли...»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг – библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны – у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо не понимая, почему на нее смотрят, – ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко – одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать – маленькие, отошавшие дворняжки; их держали хозяйки – тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках – «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю: моя книга – сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах).

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей Урса и Куса: они принадлежали И.А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб – паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи – здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня завтра пройдут по улицам Ленинграда... Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царскосельском парке:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни...

Статую Пушкина нашли в земле – ее успели закопать: нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки:

О, дайте вечность мне, – и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубili три тысячи старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники – Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л.А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать:

Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно...»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршальское звание. О.Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может...» Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас неуверенный...»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне – для меня это память...» Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра... Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь – “Анну Каренину”», «Ночь напролет “Госпожа Бовари”...» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрялись читать ночью? Ведь света не было». – «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью...» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее действовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства – в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой – ее «благодетельства». О первом списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благодетельств», то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка,

которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте, в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению, связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умиляешься, пробуешь подтрунить над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву, и сразу же захотелось уехать. Пришел П.И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась – большие площади, Гостиный двор. Табачные ряды. Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился). Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени – кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит – нечего торопиться, но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте – он меня в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства...»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость.

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину,
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево

Еще по-прежнему стоит.

Писал о мужестве:

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту...

Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать:

...Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вяза.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны в журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь — моя молодость меня искала...

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась — и голос такой же, и глаза. Дочь, жених... Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех настигает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?», «Чей будет Триест — югославский или итальянский?», «Как вы относитесь к статье Александрова?», «Почему никто из писателей не написал “Войну и мир”?» На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской — вот здесь стоял дом, где я родился, — груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал: скоро сяду за книгу, — значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, в сердце. Побывал у Тычины, Бажана, Голованивского, А. Кагана. На Подоле просидел вечер у офицера — он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?.. Жена застряла в Киеве. В Бабыем Яру...» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю — не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрязнул, к вам трудно дозвониться. Я болгарский коммунист Коларов»... У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взбирался? А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе...» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г.Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я понимал, что это ни к чему, – ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый известинец...» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка, привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в “Известиях”, не осталось... Впрочем, это безразлично, в “Известия”, так в “Известия”...» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материю, купит муку, сало. Она студентка текстильного института, муж тоже студент – филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то что, я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный...» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по блату. Денег у нее мало – только на носильщика, могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы – писатель, должны понять... А может быть, не стоит брать носильщика?..» (Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?..» Я сразу вспомнил. «Ну как – взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила»).

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей, родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: “Привези”. Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат – руку повредило. Ну, ничего как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два... Девочка-то хорошая. Жена обрадуется»... Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном запущенном доме – во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю...

Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом...

Вот это правда, слишком часто говорил о другом – не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу, скорее, мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать... Прежде мне казалось, что старость легка, естественна – постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени – железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу: встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С.А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

2

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое, – за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете, ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед...» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать – о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымаливал выходной день или, как школьник, убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в уютом местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина – его законная жена, а литература – любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом?.. Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревнивой

жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрасветный туман. По Библии, бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского Учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победы»; Георгиу Деж был всего-навсего министром путей сообщения.

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены – одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Были и в 1945 году на Балканах партии или группы, открыто нападавшие на коалиционные правительства – в Румынии сторонники Маниу, в Болгарии – Петкова, в Югославии – Грола. Я встречался с некоторыми из них и понял, что они рассчитывают на обострение отношений между Советским Союзом и западными державами; им хотелось, чтобы твердь поскорее отделилась от хляби (или наоборот), и они не понимали, что мечтают о своей гибели.

Для того чтобы разъяснить положение читателям газеты, мне приходилось многое изучать, встречаться с румынскими помещиками, с болгарскими экспортёрами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» – это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «Виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт. Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умильные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик КонстантINESКУ отберет землю назад, да еще выпорот за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное...» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!...»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединявший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буды, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя вернуть никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви, встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков – нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку – кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденовыми ленточками – кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу – пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русс. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел, усталый, из машины после рытвин, ухабов – и сразу меня втокнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а

темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, непохожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили, как звери, – в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканой одежде, волосы задерживали министерский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха; 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит...»

Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку – сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я – русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость – это на счастье...»

В Румынии было много одаренных художников. Я запомнил полотна Изера, Паллады, Тоницы. Один министр поспешно сказал мне: «Это, знаете, продукция прошлого, влияние Сезанна и других формалистов. У нас художники издавна были искалечены французской живописью...» Услышав, что холсты мне нравятся, он просиял: «Мне тоже нравится – я ведь люблю живопись».

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргези. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргези; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргези!..»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов; люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну – вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргези и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили – слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному, –

кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей... Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать-тридцать, когда вырастут другие люди, с другими нормами. Но я не ропщу – хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства...» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный – никакой «души нараспашку», страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел «читалище» – библиотеку; крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые – даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задолго до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альших – племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен – рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязаешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, газета...» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой...» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым.

Я поехал в Бояну – посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а, скорее, почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева. Однажды на приеме я разговаривал с К.Е. Ворошиловым. К нему подошел художник, чьи полотна (или копии полотен) висели тогда во всех официальных местах, и, услышав, что я называл Рублева, усмехнулся: «Он иконки любит...»)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI–XIII веков. Эта живопись на сто-двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе.

Печально, что у славянского Возрождения было только раннее утро – в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождения; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Любляну, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве – на горе. Мы с ним погодики, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье.

Другой крупный писатель Югославии – Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?..» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца: судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке: каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев, – олива живет долго, триста-четырееста лет, – и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не раз в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали:

Этот мир – тиран даже для тирана,
И он вдвойне тяжек для благородных сердец.
Море воюет с берегом, зной с морозом,
Ветер с ветром, зверь со зверем,
Народ с народом, человек с человеком...

Я трясся в машине и повторял горькие слова: война не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацо Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое – «Деветсил» и «Дав», шутили, пили вино...

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил: «Плохо...» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» – у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарска. Копецкий вздыхал: «Формализм», а потом он подарил мне натюрморт Филлы; Незвал неистовствовал: «Это не формализм, это революция!..» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился – отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Меня повезли в замок Добрит, который отдали писателям. Все было парадно и натянуто. Назвал шепнул: «В “Куманове” было веселее. Ничего не поделаешь, чехам не к лицу роскошь. А писателям не к лицу почет...»

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого...»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти – Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились – их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась...

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к этому чувству примешивалось другое – отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности).

В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север – декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед). А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники – в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной – уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто...» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он

говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей...»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно – дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я вспомнил, как дрались два старика – венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что оплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были под номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!..» Я видел на руках судетских немцев белые повязки – знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу».

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги...» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять... Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак стоит на дороге и стреляет...» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины – не скажешь, что город. «А куда нам ехать?..» Я задумался: ночь, никого не найдешь... Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?..» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали», – и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет...» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпеж, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал... Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся – майор скоро придет...» Солдат зевнул и сказал: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое – когда меня наконец-то отправят домой?.. Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора...»

3

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песни (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался наверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай, город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уце-

левшем заводе изготавливали портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись – Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал – стоял часами, глядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «Железную деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба:

Но путь науки строгой
Я в юности отверг
И вольною дорогой
Пришел я в Нюрнберг...
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча!

Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги: на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, я вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге...

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в это время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов...

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом – все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слóва и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану – не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой – понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии «планом Отто», захват Чехословакии – «зеленым планом», захват Югославии – «Маритой», уничтожение Польши – «делом Гимmlера», предполагавшееся нападение на Гибралтар – «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз – «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать заурядных злодеев – нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гимmlера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь, – я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знаток считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до акции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: “Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами...”» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился – грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину...»

Я глядел на них и видел одно – страх. Одно дело – убить миллион людей, это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт; другое – чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя – Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре – Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье, и все – на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он

не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный», – сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» – и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, предприятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал – мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?..» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться: состав преступлений был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшедшего Горгулова – там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге, – кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается «достоевщина» и начинается ужасающий мир роботов.

Полночи я проговорил с Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. Виоллис рассказывала о печали Франции – ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле – в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают...» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны... Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей – сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго – десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее – до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой – от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильяни – он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал...» «Геринг не согласен...» «Риббентроп предлагает...»? От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчуры, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников!..

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою

дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства...» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой – мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Я вспомнил статью Марины Цветаевой – рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь – победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысы школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них – и на душе стало как-то спокойней.

4

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды», Гехман, позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе было живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политехническом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлехс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу, Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно – вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлехс». Михоэлс и Зускин выхо-

дили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре одного убьют на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?..

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А.Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю».) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами – в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не сразу понял, что все переменялось. Мне запомнился смешной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина – колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое – Ф. Кельин, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обвиняли Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изыали из библиотек – в ней четыре раза упоминалось имя маршала Тито.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично...» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово – очень уж мрачно...») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б.Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М.М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю... А главное, у нас этого не любят...»

Я стал ее успокаивать – теперь не тридцать седьмой... Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать треть романа – две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это – кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев – честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео – было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предво-

енные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части – случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет...» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего...» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали» – это зачеркнули... В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете – у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого...», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой...» О каких «неприятностях» идет речь – стало непонятным. Прерываю список «опечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым – на конференцию редакторов газет. Я сказал В.М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомним о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башеллери, где долго жил Анатоль Франс; повез нас туда внук писателя, Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом – я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Потом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба – прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко». Я взволновался и все же цеплялся за надежду – может быть, это очередная газетная утка? (Люба потом долго издевалась над моей наивностью).

В Париже я прежде всего побежал в посольство, попросил газеты и увидел, что телеграмма французского агентства была не выдумкой. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, я узнал подробности. На этот раз гром грянул среди ясного неба: в конце июня утвердили новую редакционную коллегию журнала «Звезда», включили в нее М.М. Зощенко; в июльском номере журнала «Знамя» была помещена вполне благожелательная статья о поэзии Анны Ахматовой. А в середине августа опубликовали постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое на восемь лет определило судьбы нашей литературы.

Н.С. Тихонов рассказывал, как Сталин вызвал руководителей Союза и заявил, что Ахматова и Зощенко – «враги». А.А. Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о М.М. Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество», «пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган»; об А.А. Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». Удивительно было многое. Жданов, например, сказал: «Все эти символисты, акмеисты, “желтые кофты”, “бубновые валеты”, “ничеговки”, – что от них осталось в нашей родной русской, советской литературе?» Видимо, никто не решился ему объяснить, что «бубновый валет» объединял не писателей, а художников, среди которых был будущий академик Кончаловский, что за месяц до доклада Жданова все газеты умиленно говорили о поэзии Блока (исполнилось двадцать пять лет со дня его смерти) и что Блок, как и Брюсов, причисляли себя к символистам, что «желтую кофту» придумал и воспел не кто иной, как Маяковский, объявленный Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи». (Одну ошибку Жданов все же успел исправить – доклад напечатали полтора месяца спустя. В напечатанном тексте есть такая

фраза: «И у акмеистов и у “серапионовых братьев” общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма». В своем выступлении Жданов принял за одно лицо знаменитого немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которого любил Маркс и который скончался в 1822 году, и мало кому известного эпигона Бальмонта, русского поэта Виктора Гофмана, родившегося в 1884 году). После доклада Жданова Анну Ахматову и М.М. Зощенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее – собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л.И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», ее статьи выглядели как обвинительные заключения. Зощенко и Ахматова изображались главными врагами, о них говорили и писали куда резче, чем о Черчилле, призывавшем показать русским военную мощь англосаксов, или чем о некоторых американских сенаторах, уже поговаривавших о «превентивной войне».

Тогда же и в докладе Жданова, и в статьях, ему посвященных, впервые была объявлена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А.А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству – и еще в 1934 году поручил направить писателей на путь истинный, но тогда мы слушали и не пугались. Снова я увидел Жданова в 1947 году – он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания – Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С.С. Прокофьев и Д.Д. Шостакович рассказывали, что в связи с очередным постановлением – на этот раз о музыке – Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное – это мелодия, которую можно напевать. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А.А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение – умер Жданов! Сойдите вниз, мы в ресторане...»

С М.М. Зощенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды, в начале пятидесятых годов, я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала: Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить Международную премию, и в Оксфорд, где ей дали «докторскую мантию».

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач – меня окружили видения военных лет, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного, вероятно, события были чересчур свежи, и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа – Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей – мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но

весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи – был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «...Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург... Просто либеральные буржуа не понимают и клеветуют на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть... Но ведь тов. Эренбург – не либеральный буржуа... При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские... Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?...»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным...» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К.М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет. По-моему, всё в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее исступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по Сталинским премиям, докладывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему “Бурю” выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом, нет настоящих героев. Сталин возразил: “А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом, так в жизни бывает... А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями...”» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», – и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пановой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я – нет...» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм: помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над ней издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть...

Из книг, вышедших в свет с 1946-го по 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Для писателя это были годы запечатанных уст, и я хорошо понимаю К.Г. Паустовского, который недавно возмущался людьми, утверждающими, что «культ личности» никак не ущемил нашей литературы.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»:

Да разве им хоть так, хоть вкратце,

Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне.
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

А «Буря» остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

5

Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись – мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита – «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмещались в гармонию, и Магдебург казался холстом «ташиста» – беспорядочные мазки. М.Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко – вы привыкли, а я никогда не разговаривал с иностранцами...»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас – на этом перекрестке прошла моя молодость! Я хотел грустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссиаки; я жадно слушал их рассказы о годах оккупации, о Сопротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим – и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал взволнованный Фотинский, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские – победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цадкина, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?..»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине – до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России?..» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти...» Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в

вине, на устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа...» Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомоллов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсон, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи – вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость: мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на часы в ресторане – по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая – американская.

Когда рассвело, я увидел большой город – Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста – владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и названием газеты. М.Р. Галактионов представлял «Правду», К.М. Симонов – «Красную звезду», я – «Известия».

У меня сохранилось удостоверение: «Предъявитель сего Эренбург Илья Григорьевич является членом редколлегии газеты “Известия Советов Депутатов трудящихся СССР”» (читатель легко догадается, насколько это соответствовало истине). Хоть за редактора меня не выдали, и на том спасибо!.. Впрочем, в перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем – мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли...» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим

коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки»... Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!..»

Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог; я нажимал различные кнопки – шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец, я свалился, измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решился – подумают: ну и дикари эти русские! Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание». Я ответил: «Нет, вы откройте окно...» Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, объяснила: «Окно не открывается – на улице пыль, чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось: «Техника у них замечательная!..» А мне стало неуютно – даже окна нельзя открыть, наверно, таким будет новый век...

Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в Новом Свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман – бестселлер, и тем, что ему тридцать лет. О том, что происходило с М.Р. Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов – легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой – настоящая человеческая сложность».

С некоторыми американцами мне удалось подружиться; и все же признаюсь: отдыхал я с европейцами, будь то мои старые друзья – Тувим, Шагал, Стефа Херасси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле Корбюзье, де ля Пуап, или те, которых я увидел впервые, – Эйнштейн, Кусевицкий, Шолом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я, счастливый, заулыбался.

В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Пять лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно – начальной школой. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях.

6

Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе; все чрезмерно – зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент США Уоллес вывез из Советского Союза кустики «русской клубники» (фрагария моската) – невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород, и я не сразу узнал мою землячку – ягоды были втрое больше, но запах исчез.

Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на восемнадцатом этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог – рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна;

небо над Бродвеем пылало, высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.